



DAVID SAFIER

28 TAGE LANG

ДАВИД ЗАФИР

28 ДНЕЙ

**ИСТОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО**

Перевела с немецкого

Дарья Андреева

POPCORN BOOKS

Москва

УДК 821.112.2
ББК 84.4(Герм)
3-37

28 TAGE LANG
David Safier

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения правообладателя.

Зафир, Давид.

3-37 28 дней. История Сопrotивления в Варшавском гетто: роман / Давид Зафир ; пер. с нем. Д. Андреевой — Москва : Popcorn Books, 2024. — 432 с.

ISBN 978-5-907696-53-2

Варшава, 1942 год. Шестнадцатилетняя Мира контрабандой пронесит в гетто продукты, чтобы помочь выжить матери и сестре. Она все чаще слышит, что скоро население гетто будет «депортировано» — убито или отправлено на восток, в трудовые лагеря.

Мира отчаянно ищет способ спасти семью и случайно знакомится с группой людей, которые планируют немислимое: восстание против немцев. У бойцов Сопrotивления почти нет припасов и оружия, как нет и надежды на то, что им помогут союзники за стенами гетто. Но они продержатся целых 28 дней — дольше, чем кто-либо считал возможным.

УДК 821.112.2
ББК 84.4(Герм)

© Дарья Андреева, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
Popcorn Books, 2024
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Cover Art © Ionomycin

ISBN 978-5-907696-53-2

Моей матери, моему отцу
и моей сестре

1

Они меня вычислили.

Гиены меня вычислили!

И теперь идут по следу.

Я почувала их инстинктивно. Хотя не видела и не слышала. Как зверь чует опасность, хотя врага в чаще еще не разглядел. Этот рынок — самый обычный для поляков рынок, где они покупают овощи, хлеб, сало, одежду, да что там, даже розы, — для таких, как я, и есть чаща. Где я считаюсь за добычу. И умру, если выяснится, кто я такая — или, лучше сказать, что я такое.

Только не ускоряться, подумала я. И не замедляться. И не петлять. И уж точно — не оглядываться на преследователей. И никаких судорожных вздохов. Нельзя делать ничего такого, что укрепило бы их подозрения.

Невероятно тяжело как ни в чем не бывало брести по рынку, словно бы наслаждаясь солнцем и на удивление теплым весенним деньком. Мне хотелось броситься наутек, но тогда гиены убедились бы, что правы в своих подозрениях. Что я не обычная полька, которая купила все, что хотела, и с полными сумками возвращается домой к родителям, а контрабандистка.

Я остановилась у прилавка какой-то крестьянки и, разглядывая на свет яблоки, подумала: может, все-таки огля-

нуться? Вполне возможно, что я все себе навоображала и никто меня не преследует. Но каждая жилка моего тела умоляла о бегстве. А я давно уже усвоила, что инстинктам надо доверять. Иначе я бы и до своих шестнадцати не дотянула.

Твердо решив не бежать, я неспешно двинулась дальше. Старая крестьянка, до омерзения жирная — похоже, еды у нее не то что вдосталь, а с избытком, — проскрипела мне вслед:
— У меня лучшие яблоки во всей Варшаве!

Откуда ей знать, что для меня любое яблоко — чудо. Для большинства людей, загнанных жить за стены, даже подгнившее яблоко сошло бы за лакомство. А уж тем более яйца, которые я несу в сумке, сливы и главное — масло, которое я рассчитываю задорого перепродать на нашем черном рынке.

Чтобы у меня был хоть какой-то шанс вернуться домой, нужно для начала выяснить, сколько человек меня преследует. Уверенности у них нет, иначе меня бы давно остановили. Нужно все-таки исхитриться на них посмотреть. Какнибудь. Незаметно. Не возбуждая еще больших подозрений.

Мой взгляд упал на брусчатку под ногами. В паре метров отсюда виднелась решетка стока, и меня осенило. Я как ни в чем не бывало пошагала дальше. Каблуки синих туфель, замечательно сочетавшихся с синим платьем в красный цветочек, стучали по брусчатке. Отправляясь в рейд, я всегда надевала эти вещи — их подарила мне мать, еще когда у нас водились деньги. Вся прочая моя одежда поизносилась, многое уже латаное-перелатаное. В таких отрепьях я бы и пяти метров по рынку не прошла — на меня бы тут же обратили внимание. Так что это платье и эти туфли, которые я берегла как зеницу ока, — моя рабочая одежда, моя маскировка, моя броня.

Направившись напрямиком к стоку, я нарочно всадила каблук в решетку. Слегка оступилась, ругнулась театрально:

— Черт возьми, ну надо! — поставила сумки и наклонилась, чтобы высвободить застрявший в решетке каблук. При этом я украдкой бросила взгляд по сторонам. И увидела гиен.

Инстинкт меня не обманул. К сожалению, он никогда не обманывает. Или к счастью — тут уж как посмотреть.

Их было трое. Впереди вышагивал низкорослый, коренастый, небритый тип в коричневой кожанке и серой кепке. Ему было лет сорок, и он, очевидно, был предводителем шайки. За ним шли здоровенный бородач такого вида, будто он мог руками крошить камни, и парнишка моего возраста. Он тоже был в кожаной куртке и кепке и выглядел как уменьшенная копия предводителя. Может, это его папаша? Тогда понятно, почему вместо того, чтобы сидеть в школе, парень с утра ошивается на рынке, охотясь на людей.

Безумие — у нас за стенами в школу никто больше не ходит, немцы запретили всякое обучение. Есть, правда, две подпольные школы, но они не для всех, и я давно уже их не посещаю. Мне семью кормить нужно.

В отличие от нас, этот мальчишка-поляк мог бы учиться, мог бы кем-то в этой жизни стать — но не хотел. Наверное, гораздо денежнее состоять при банде шамальцовников, как мы называем этих гиен, охотиться на евреев и за деньги выдавать их немцам. Шмальцовников в Варшаве развелось немерено, и их ничуть не волновало, что немцы расстреливают любого, кого поймают за периметром стен.

Сейчас, весной 1942 года, смертная казнь грозила всем, кто без разрешения оказывался в польской части города. И смерть еще не самое страшное: из уст в уста передавались

ужасные рассказы о том, как немцы пытаются пойманных, прежде чем поставить к стенке. Все равно — мужчину, женщину или ребенка. Да, они даже детей могли замучить до смерти. От одной мысли о пыточных застенках у меня перехватило горло. Но пока что меня никто не бил, не пытал и не пытался застрелить. Пока что я живу! И должна жить дальше. Ради Ханны, моей младшей сестры.

Нет на земле человека, которого я любила бы так же сильно, как это маленькое, хрупкое создание. Из-за плохого питания Ханна очень мелкая для своих двенадцати лет и давно превратилась бы в тень самой себя, если бы не глаза. Глаза у нее большие, живые, любопытные и уж точно достойны того, чтобы видеть что-то еще, кроме творящегося за стенами кошмара.

В этих глазах горела мощь невероятной фантазии. Хотя в подпольной школе «Шулькульт» Ханна по всем предметам: по математике, по биологии, по географии — перебивалась с тройки на двойку, зато в историях, которые она на переменах рассказывала другим детям, равных ей не было. Она сочиняла сказки про лесную воительницу Сару, которая освобождала своего возлюбленного принца Иосифа из когтей трехглавого дракона, про зайку Марека, который помогал союзникам выиграть войну, и про Ханса, мальчишку из гетто, который умел оживлять камни, но делал это без большой охоты, потому что камни были очень уж брызгливы. Для каждого, кто слушал истории Ханны, мир становился ярче и прекраснее.

Кто позаботится о малышке, если меня схватят?

Не мать же! Она настолько сломлена, что носа не высывает из той обшарпанной дыры, в которой мы обитаем. И уж точно не братец. Он слишком занят тем, чтобы думать о себе любимом.

Я отвела взгляд от шмальцовников, выдернула каблук из решетки и быстро коснулась рукой брусчатки. Когда меня охватывает страх, я часто, чтобы успокоиться, касаюсь какой-нибудь поверхности: металла, камня, ткани — все равно чего, главное — убедиться, что в мире есть что-то еще, кроме моего страха.

Светлый булыжник, на котором на мгновение задержалась моя ладонь, был нагрет солнцем. Я глубоко вздохнула, подобрала сумки и двинулась дальше.

Я знала, что шмальцовники идут за мной по пятам. Я слышала их ускоряющиеся шаги, хотя на рынке было множество других звуков: выкрики продавцов, нахваливающих свой товар, гомон торгующихся покупателей, птичий щебет и шум машин, которые ехали по улице за рынком.

Люди не торопясь шли мимо. Светловолосый молодой человек в сером костюме, какие носят многие польские студенты, весело насвистывал себе под нос песенку. Я все это слышала, но словно бы фоном. Зато оглушительно звучало собственное дыхание, которое поневоле учащалось, хотя шагу я не прибавляла, и сердце, которое колотилось стремительнее с каждой секундой. А громче всего отдавались в ушах шаги преследователей.

Они подошли ближе.

Все ближе и ближе.

Вот-вот нагонят и остановят. Скорее всего, сначала станут вымогать деньги: мол, если я заплачу, меня отпустят. А получив деньги, все равно меня выдадут и вознаграждение от нацистов тоже положат себе в карман.

Я знала, что рано или поздно нечто подобное произойдет — с тех самых пор, как начала заниматься контрабандой. А решила я на это спустя пару недель после того, как папа

покончил с собой, бросив нас на произвол судьбы. Денег, чтобы покупать еду на черном рынке, у нас не осталось, а выделяемый немцами рацион составлял триста шестьдесят калорий в день на человека. Кроме того, продукты питания, которые нам, евреям, выдавали, часто оказывались порченые. Все, что не годилось для солдат на Восточном фронте, шло нам. Гнилая свекла, тухлые яйца и мороженая картошка, из которой ничего нельзя было приготовить — однако, имея некоторую сноровку, все-таки удавалось соорудить вполне сносные драники. В последнюю зиму бывали дни, когда этими самыми картофельными драниками вошло все гетто.

Так что, если я хотела, чтобы родные не голодали, сидеть сложа руки было нельзя. Моя подруга Руфь торговала телом в отеле «Британия» и предложила меня тоже туда устроить, хотя фигурой я, как она с ухмылочкой заявила, скорее похожа на мальчишку. Но я вместо этого предпочла рисковать жизнью, пронося продукты в гетто.

На случай, если меня поймут шамальцовники, я сочинила целую историю: я, мол, Дана Смуда, польская школьница, живу в другом районе Варшавы, но за продуктами хожу на этот рынок, потому что только здесь продаются вкуснейшие пирожки из слоеного теста с восхитительной яблочной начинкой. Я намеренно поселила фальшивую школьницу подалше отсюда, иначе гиены поведут меня напрямик к моему якобы жилищу и выяснят, что я солгала. На всякий случай, чтобы история выглядела правдоподобнее, я каждый раз покупала на рынке и клала в сумку пирожок.

Отправляясь в очередную вылазку, я всегда вешала на шею цепочку с крестиком. Зазубрила христианские молитвы так, что от зубов отскакивали, чтобы в случае чего

изобразить благочестивую католичку. Выучила «Розарий», «Санктус» и «Магнификат»: «Душа моя славит величие Господне, и дух мой радуется Богу» — словно в эти времена некалечная душа может славить Господа.

Окажись он сейчас передо мной, я б его яйцами закидала. Пусть даже в гетто они стоят кучу денег. На религию я не уповала. И на политику тоже. И уж совсем не уповала на взрослых. Упование у меня было одно — выжить любой ценой.

— Стоять! — крикнул один из моих преследователей, наверное, предводитель банды.

Я сделала вид, что это обращено не ко мне. Я обычная польская девчонка, с какой стати мне оборачиваться, когда какой-то чужой тип кричит: «Стоять»?

А про себя торопливо повторяла: я Дана Смуда, живу на улице Мёдовой, дом 23, люблю слоеные пирожки...

Гиены выскочили передо мной, перерезав путь.

— Что, решила на эту сторону прогуляться, паскуда еврейская? — осведомился предводитель.

— Что? — фыркнула я с наигранным раздражением. Сейчас жизненно важно не подать виду, что я боюсь.

— Две тысячи злотых, иначе мы сдадим тебя в гестапо, — отрезал предводитель, а его сын — наверняка это сын, они даже сутулятся одинаково — окинул меня с головы до пят таким взглядом, словно испытывал ко мне, еврейке, отвращение и в то же время рисовал в своем грязном воображении, как я выгляжу без платья.

— Второй раз предлагать не буду: две тысячи, и топай куда хочешь.

У меня на загривке выступил пот. Не обычный пот, который начинает течь под палящим полуденным солнцем. А другой — пот страха. У него особый едкий запах,

и я, выращенная в любви и ласке, еще пару лет назад знать не знала, что он вообще бывает.

Пока пот течет только по шее и между лопатками, он меня не выдаст, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы испарина выступила на лбу. Эти гиены примечают лобой, даже самый крохотный признак слабости.

— Кумекаешь, прошмандовка еврейская?

Я не могла вымолвить ни слова.

В этот миг мне стало ясно, почему люди в таком положении отдают преступникам все деньги, даже понимая, что их потом все равно выдадут гестаповцам. Они цепляются за нелепую надежду, что шмальцовники сдержат слово. Будь у меня при себе такая сумма, я бы, может, тоже созналась, что я еврейка, и попыталась бы откупиться. Но у меня таких деньжищ сроду не водилось. Поэтому я выдавила улыбку и сказала:

— Вы ошиблись...

— Ты нас за баранов-то не держи, — прошипел предводитель. Он был уверен в своей правоте.

Инстинкт подсказывал мне, что вся моя складно сочиненная история этого типа не убедит. Его сынка и неотесанного здоровяка я, может, и провела бы, но не его. Он за последние годы наверняка много евреев выследил и точно слышал более убедительные легенды, чем моя — про школьницу со слоеными пирожками. Гораздо более убедительные. И немало цепочек с крестиками перевидал.

Лгать смысла нет. Никакой пользы это мне не принесет. Как я могла быть так наивна, как могла так плохо подготовиться? Без меня мать в нашей комнатухе на улице Милой, 70 загнется в считанные недели, и Ханна тоже долго не протянет. Может, пойдет на улицу просить милостыню

и сколько-то еще перекантуется. Максимум — до зимы; зимними ночами маленькие попрошайки замерзают на-смерть.

Нет, я не могу допустить, чтобы Ханну постигла такая участь. Ни в коем случае!

Я напомнила себе, что крестик и заготовленное вранье не единственное спасительное средство в моем арсенале. Есть еще кое-что, на что можно сделать ставку: внешность у меня не очень-то еврейская.

Волосы, конечно, темные, как у большинства евреек, — но и польки многие темноволосые. Зато у меня вздернутый нос, а главное — вот это для евреек совсем нехарактерно — зеленые глаза.

Однажды мой друг Даниэль, находясь в не очень свойственном ему романтическом настроении, сказал, что они похожи на два горных озера, сверкающих на солнце. Я ни разу в жизни горных озер не видела, поэтому не знаю, действительно ли от них исходит зеленоватое сияние. И вероятно, никогда уже не узнаю...

Всякий раз, заглядывая мне в глаза, люди приходили в замешательство. Издали меня можно было принять как за польку, так и за еврейку. А цвет глаз, различимый лишь вблизи, и вовсе делал меня редкой птицей — что по ту, что по эту сторону стены.

Подавив страх, я посмотрела главарю шмальцовников прямо в глаза. Зеленая радужка явно его озадачила. А я, не успев толком подумать, выкинула совершенно нелепый фортель: взяла и засмеялась. Громко, от души. Те немногие люди, которые меня хорошо знали, могли бы сказать, что я почти никогда не смеюсь, а если и смеюсь, то уж точно не так. Но шмальцовники фальши заметить не могли, и это еще больше сбило их с толку.

А я язвительно бросила:

— Промашечка вышла!

Протиснулась мимо ошарашенных мужиков, которых, похоже, еще никто из тех, в ком они заподозрили «паскуду еврейскую», не поднимал на смех, и просто пошагала со своими сумками дальше. Невероятно, но, кажется, наглость действительно сработала. По моим губам пробежала усмешка...

Но тут низкорослый главарь сорвался с места, а за ним — его подручные; они снова преградили мне путь. У меня перехватило дыхание. Еще раз нагло засмеяться у меня уже не получится.

— Да еврейка ты, нутром чую! — рявкнул главарь, сдвигая кепку на затылок. — У меня на вас, паразитов, чуйка первоклассная.

— Ни у кого такой нет, — с гордостью подтвердил парнишка.

Человек гордился, что его отец вымогает у людей деньги и отправляет их на верную смерть.

Ужасная несправедливость: мой отец лечил людей — поляков, евреев, всех без разбору. Даже немецкому солдату, которого подстрелили на нашей улице, когда немцы только вошли в город, — и тому оказал помощь. Но сколько бы народу он ни спас, каким бы уважаемым врачом ни был — теперь, когда он позарез нужен, его с нами нет, и гордиться им я никак не могу.

— Отвяжитесь уже от меня! — сердито отчеканила я. — А то полицию позову!

На парнишку и бородатого великана моя пустая угроза явно произвела впечатление. Польская полиция шмальцовников не жаловала — это были конкуренты, мешавшие им зашибать деньгу на евреях, пойманных вне стен гетто.

А если в придачу ко всему выяснится, что шмальцовники пристали к ни в чем не повинной польской девушке, неприятности им обеспечены. Это бравые молодцы понимали.

Однако их предводитель ничуть не смутился. Он пристально посмотрел мне в глаза, и даже их зеленый цвет уже не защищал меня от его подозрений — он явно пытался разглядеть в них неуверенность, хоть самый мимолетный проблеск.

Я выдержала его взгляд. Твердо и непоколебимо. И заявила:

— Я говорю совершенно серьезно.

— Да никого ты не позовешь, — преспокойно отозвался он.

— Еще как позову!

— Ну тогда пошли в полицию вместе, — предложил он и указал на полицейского в синей форме, который, стоя у прилавка толстой старухи, как раз откусил от яблока и скроил кислую мину: видно, яблоко оказалось далеко не такое вкусное, как заявлено.

Что же делать? Если я пойду к полицейскому, все пропало. Если не пойду — тоже. Теперь испарина выступила и на лбу. Главарь капли пота тут же заметил и ухмыльнулся. Лгать уже без толку.

Я снова услышала посвист студента. Я скоро умру, самое позднее завтра меня поставят к стенке. Мать и младшая сестра без меня не выживут. А этот парень насвистывает веселую песенку!

Может, броситься наутек? Тоже без шансов. Даже если я, несмотря на каблуки, оторвусь от шмальцовников, они поднимут крик, и в толпе людей, пришедших на рынок по своим надобностям, найдется достаточно евреененавистников, которые помогут меня задержать. Многие поляки

нас терпеть не могут. Считают, что жить под немцами, конечно, то еще удовольствие, но одно хорошо — никаких больше евреев.

Даже в том совершенно невероятном случае, если мне удастся вырваться с рынка, я не сумею незаметно пробраться назад к стене, чтобы попасть в гетто. Так что бежать бессмысленно. И все же это мой единственный шанс. Я уже приготовилась швырнуть сумки с драгоценными продуктами на землю и со всех ног броситься прочь, как вдруг перед моими глазами возникла роза.

Настоящая роза!

У самого моего лица.

Ее мощный аромат на мгновение перебил едкий запах пота. Когда я в последний раз нюхала розу? В гетто никаких роз нет. А когда я совершаю вылазку на польский рынок, мне как-то не до цветочков. Даже в голову не приходит что-то там нюхать. И теперь, когда меня вот-вот сдадут немцам, кто-то протягивает мне розу?

Не кто-то, а тот самый студент.

Он стоял передо мной, и его светло-голубые глаза так сияли, словно никого краше и лучше меня нет на всем белом свете.

При ближайшем рассмотрении этот радостно улыбающийся парень на студента не тянул — ему скорее лет семнадцать-восемнадцать, чем двадцать с копейками.

Не успели шмальцовники рты раскрыть, как он порывисто обнял меня и засмеялся:

— Роза для моей розы!

Ну и дурацкая же фраза! Но произнес он ее с такой любовной оголтелостью, что смешной она не показалась.

Тут до меня наконец дошло: парень пытается спасти мне жизнь. И для этого делает вид, что я его большая польская

любовь. Может, он тоже еврей? Да нет, больше на поляка похож. Светлые волосы, веснушки, голубые глаза — он бы даже за немца сошел. Актер он, конечно, первоклассный! А кто уж он там по национальности, без разницы. Ради меня, совершенно чужого человека, он рискует головой.

— Ты роза моей жизни! — Он широко мне улыбнулся.

Гиены явно не знали, как расценить его поведение. Разве человек, который разыгрывает любовь, стал бы так патетично ее выражать?

Чтобы убедить их и спасти нас обоих, нужно было ему подыграть.

Но я была в слишком большом смятении. Даже руку за розой протянуть не могла. Словно меня парализовала ядовитая гусеница Ксала — героиня Ханниной сказки про глупую гусеницу, ненавидевшую бабочек.

Парень почувствовал мое состояние и привлек меня к себе. Хватка у него была крепкая: вроде худой, а руки неожиданно сильные. Я по-прежнему пребывала в оцепенении. Испуганная и изумленная, я лежала в объятиях парня, словно манекен. Чтобы это не так бросалось в глаза, парень перешел к еще более активным действиям: взял и поцеловал меня.

Он меня поцеловал!

Его слегка приоткрытые шершавые губы прижались к моим, и его язык проскользнул в мой рот, как будто так и надо, как будто он это уже тысячу раз делал. Я понимала: на поцелуй надо ответить. Это мой последний шанс. Если я этого не сделаю, всему конец. Нам обоим крышка.

Мысль о том, что гибель неотвратима, если я наконец не приду в чувство, помогла мне сбросить оцепенение. И я страстно ответила на его поцелуй.

Об удовольствии я в этот миг даже не думала.

Однако, когда парень от меня оторвался, постаралась изобразить блаженство.

— Спасибо за розу, Стефан, — я наспех придумала ему имя.

— Тебе спасибо, что ты есть, Ленка, — не остался в долгу он и явно испытал облегчение, поняв, что я наконец-то приняла его игру.

Только теперь я отважилась посмотреть на гиен. Наш спектакль произвел на них глубокое впечатление. Молодого шмальцовника, похоже, даже зависть проняла: наверняка он тоже не отказался бы от страстного поцелуя с юной полькой.

— Этим-то что от тебя нужно? — осведомился Стефан, сделав вид, будто только сейчас их заметил.

— Они приняли меня за еврейку!

Стефан посмотрел на моих преследователей как на сумасшедших — это же надо такое придумать! Но смеяться, как я при первой попытке от них избавиться, не стал. Его лицо исказил гнев:

— Вы что, хотели оскорбить мою девушку?

Вот он — гордый поляк, чьей подруге нанесли грубейшее оскорбление. Еврейка? Никто не смеет обзывать так девушку добропорядочного польского гражданина!

— Да нет... да мы чего... — прозаикался главарь. И сделал шаг назад. Его подручные — тоже.

— Очень даже хотели! — сердито возразила я. И если роль оскорбленной польки я только играла, то злость была самой настоящей.

Сжав руку в кулак, Стефан замахнулся на шмальцовников. Те еще попятились. Конечно, они запросто могли его отколошматить — трое на одного, подумаешь. Но им не хотелось связываться с поляком — только огреть лишние